

Публикуемый материал - введение к книге З. Баумана "Индивидуализированное общество", которая, на наш взгляд, представляет одно из глубоких, имеющих высокую эвристическую ценность, исследований. Знакомство с этим трудом несомненно обогатит представления наших читателей об интерпретации изменений, происходящих в современном обществе. Русский перевод ее опубликован в 2002 г. в Москве небольшим тиражом. Редакция благодарит автора, а также редактора перевода с английского языка В. Иноземцева за разрешение на публикацию данного раздела книги.

© 2004 г.

З. БАУМАН

РАССКАЗАННЫЕ ЖИЗНИ И ПРОЖИТЫЕ ИСТОРИИ

БАУМАН Зигмунт - почетный профессор университета г. Лидса (Великобритания).

Введение

"Люди по определению настолько сумасбродны, - обронил Блез Паскаль, - что удержание их от сумасбродства вылилось бы лишь в новую форму безумия". Из безумия нет выхода, кроме иного безумия, утверждает Эрнест Беккер, комментируя вынесенный Паскалем приговор, и поясняет: люди находятся "вне природы, но безнадежно остаются в ней"; индивидуально и коллективно все мы поднялись над ограниченностью нашей телесной жизни, и все же мы знаем - не можем не знать, хотя и делаем все возможное (и даже больше), чтобы забыть это, - что жизненный полет неизбежно (и буквально) завершится в земле. У этой дилеммы нет удовлетворительного решения, потому что сам факт возвышения над природой открывает конечность [нашей жизни] и делает ее видимой, незабываемой и мучительной. Мы предпринимаем все, что в наших силах, для сохранения в максимально возможной тайне наших естественных пределов; но даже если бы нам удалось преуспеть в этих потугах, мы имели бы не слишком много причин тянуться "за" и "выше" границ, которые нам хотелось перейти. Именно полная невозможность забыть о естественности своего положения побуждает нас к тому, чтобы подняться выше всего этого. И если нам не дозволено забыть о своей природе, мы можем (и должны) отвечать на этот вызов.

"Все, что делает человек в своем символическом мире, есть попытка отрицания и преодоления его гротескной судьбы. Он буквально доводит себя до самозабвения социальными играми, психологическими уловками и личными увлечениями, настолько далекими от реальности его положения, что все они являются формами безумия - согласованного безумия, коллективного безумия, замаскированного и благородного безумия, но все равно именно безумия" [1].

"Согласованное", "коллективное", "благородное" - оно возвеличивается своим всеохватным масштабом и артикулированным или молчаливым согласием уважать то, что признается [столь многими]. То, что мы называем "обществом", является изощренной уловкой, для этого и предназначенной; "общество" - лишь иное обозначение согласия и принятия [неких ценностей], но в то же время и сила, которая делает согласованное и принятое величественным. Общество оказывается такой силой потому, что, подобно самой природе, оно существовало задолго до любого из нас и сохранится после того, как каждый из нас покинет этот мир. "Жить в обществе" - соглашаться разделять и уважать принятые ценности - это единственный рецепт для того, чтобы жить *счастливо* (пусть и не вечно). Обычаи, привычки и рутина устраняют яд абсурдности из терзаний, [порождаемых] конечностью жизни. Общество, - говорит Буккер, - "это живой миф о значимости человеческой жизни, дерзкое творение смысла" [2]. "Сумасшедшими" являются лишь неразделяемые смыслы. Безумие перестает быть безумием, если оно коллективно.

Все общества представляют собой фабрики смыслов. Более того, на деле они служат питомниками для *жизни, исполненной смысла*. Роль таких питомников незаменима. Аристотель заметил, что одинокое существо вне полиса может быть только либо ангелом, либо зверем; не удивительно, можем сказать мы, ибо первый - бессмертен, а второй не сознает своей смертности. Подчинение обществу, как подчеркивает Дюркгейм, есть "опыт освобождения", само условие освобождения "от слепых, бездумных физических сил". Разве нельзя сказать, спрашивает он риторически, что "только лишь благодаря тому счастливому обстоятельству, что общества живут намного дольше отдельных людей, мы можем испытывать удовлетворения, которые не являются эфемерными?" [3] Первое из процитированных положений является, так сказать, избыточным: то, что дает подчинение обществу, представляет собой не столько освобождение от "бездумных физических сил", сколько свободу не думать об их существовании. Свобода приходит в облике изгнания духа смертности. И именно эта тавтология делает изгнание духов эффективным, позволяет ощущать некоторые виды удовлетворения как победу над безжалостными, слепыми "физическими силами". Когда одинаковое удовлетворение испытывают люди, родившиеся задолго до нас, и те, кто будет жить после нас, оно не может быть "эфемерным"; точнее сказать, оно эфемерно очищается от признаков эфемерности. В пределах смертной жизни можно испытать бессмертие, хотя бы метафорически или метонимически, - устраивая свою жизнь по образу тех форм, которые общепризнанно наделены нетленной ценностью, или вступая в соприкосновение и общение с вещами, которым, по общему согласию, суждена вечность. Так или иначе, определенные проявления долговечности природы могут заслонить собой мимолетность отдельной жизни.

Так же, как осознание добра и зла порождает властную и устойчивую потребность в нравственном руководстве, осознание конечности человеческого бытия провоцирует желание трансцендентности, проявляющееся в одной из двух форм: либо жизнь, признаваемая преходящей, должна оставить после себя следы гораздо более долговечные, чем тот, кому она была дана, либо человек до смертного своего часа должен вкусить ощущений, лежащих по ту сторону опытов преходящей жизни, ощущений, которые "сильнее смерти". Общество подпитывает это желание в обеих его формах. В нем скрыта энергия, ожидающая, что ее направят в заданное русло. Общество "подзаряжается" этой энергией, оно в той мере извлекает из этого желания свои жизненные соки, в какой ему удастся обеспечить людям возможность испытывать удовлетворение, предоставить для этого достойные доверия ориентиры, достаточно соблазнительные и надежные, чтобы стимулировать "исполненные значимости" усилия, "придающие смысл" жизни; усилия, способные заполнить собой весь отпущенный жизненный срок, [вместе с тем ориентиры эти должны быть] и достаточно разнообразными, чтобы люди действительно жаждали и стремились к ним независимо от уровня иерархии и общественного положения, от того, сколь щедрыми или скудными ни были бы их таланты и возможности.

Все это может быть, как полагает Беккер, сумасшествием, но это можно счесть и рациональным ответом на условия, которых людям не дано изменить, но с последствиями которых они вынуждены мириться. Как бы то ни было, общество "манипулирует этим", как манипулирует оно и осознанием добра и зла, но в данном случае свобода его маневра более широка, а его ответственность более серьезна, поскольку люди уже вкусили от Древа добра и зла, но только лишь слышали о Древе жизни, не зная вкуса его плодов.

Там, где существует употребление, есть и возможности для злоупотребления. И грань, отделяющая употребление от злоупотребления как орудия трансцендентности, была и остается весьма горячо (пожалуй, даже наиболее горячо) оспариваемой линией из всех, когда-либо проведенных человеческим обществом; скорее всего, она еще долго будет оставаться таковой, поскольку плоды с Древа жизни пока еще не замечены на должным образом лицензированных торговых прилавках. Задачей любой экономики является управление *редкими ресурсами*, а судьба *экономики трансцендентности* состоит в том, чтобы предоставлять и распределять *заменители* очевидно *отсутствующих* ресурсов: управлять движением суррогатов, которые должны лишь представлять "настоящий товар" и делать жизнь сносной даже в его отсутствие. Главное их применение состоит в том, чтобы предотвратить (или, если это невозможно, отсрочить) момент открытий, подобных грустному прозрению Леонардо да Винчи, сказавшего: "Я думал, что учусь жить, а на самом деле учился умирать", - мудрости, которая иногда может способствовать расцвету гения, но чаще приводит к параличу воли. Именно поэтому предлагаемые и находящиеся в обороте жизненные смыслы не могут быть рассортированы на "верные" или "ошибочные", истинные или мошеннические. Все они дают удовлетворение, различающееся эмоциональным наполнением, глубиной и длительностью, но любому из них далеко до подлинного удовлетворения потребности.

Отсюда вытекают два следствия. Первое - это изумительная изобретательность культур, "основным призванием" которых являются поставки все новых, пока еще не проверенных и не опороченных стратегий трансцендентности, и постоянное воскрепление доверия к продолжающимся поискам, несмотря на то, что путь первопрородцев петляет между разочарованием и отчаянием. Торговля жизненными смыслами - это самый конкурентоспособный из рынков, и, учитывая, что "предельная полезность" предлагаемых товаров вряд ли снизится, следует предположить, что спрос, диктующий конкурентоспособное предложение, никогда не исчезнет. Второе - это внушающая благоговение возможность наживать капитал на неосвоенных и неистощимых запасах энергии, генерируемой постоянной и никогда не утоляемой до конца жадной поиска смысла жизни. Эта энергия, если ею должным образом овладеть и направить в нужное русло, может найти самые разнообразные применения: благодаря своей вездесущности и разнообразию она представляет собой целиком и полностью культурный "мета-капитал", материал, из которого могут быть построены и строятся многочисленные и разнообразные формы "культурного капитала". Любой вид социального порядка может быть представлен как сеть каналов поиска жизненных смыслов и передачи открытых формул. Энергия трансцендентности поддерживает ту оживленную деятельность, которая и называется "социальным порядком"; она делает его как нужным, так и достижимым.

Выше мы предположили, что отделение "верных" жизненных смыслов и формул от "ошибочных" представляет собой задачу, которая не только сомнительна, но и, в случае попытки решить ее, обречена на провал. Это, однако, не означает, что все предлагаемые жизненные смыслы равноценны; из того, что ни один из них не попадает точно в цель, не следует, что все отклоняются от нее одинаково далеко. Каждая культура живет изобретением и передачей из поколения в поколение смыслов жизни, и всякий порядок держится на манипулировании стремлением к трансцендентности; однако порождаемую этим стремлением энергию можно употреблять (или злоупотреблять ею) по-разному, а выгоды от каждого ее применения непропорционально распределять среди "клиентов". Можно сказать, что сущность "социального порядка"

заклучена в перераспределении, в дифференцированном размещении ресурсов и стратегий трансцендентности, произведенных культурой, а задача социальных порядков состоит в регулировании доступности этих ресурсов и в превращении ее в главный фактор стратификации и важнейшую меру социально обусловленного неравенства. Общественная иерархия со всеми ее привилегиями и лишениями выстраивается из различных систем оценки жизненных формул, описывающих те или иные способы человеческого бытия.

Именно в сфере регулируемого обществом перераспределения капитализированной "энергии трансцендентности" можно попытаться разумно поставить вопрос об истинности и ложности смыслов жизни и получить на него правильный ответ. Энергия может быть "злоупотреблена", что и случается, когда возможности осмысленной жизни ограничиваются, утаиваются или представляются искаженными, а энергия направляется в сторону от их обнаружения. Общественная манипуляция жаждой трансцендентности неизбежна, если индивидуальная жизнь должна быть прожита, а коллективная жизнь - продолжиться; но существует тенденция к *излишней манипуляции*, скорее уводящей в сторону от предлагаемых жизнью возможностей, нежели приближающей к ним.

Эта излишняя манипуляция особенно порочна, когда возлагает вину за несовершенство вырабатываемых культурой жизненных формул и за порождаемое обществом неравенство распределения ресурсов их материализации на тех мужчин и женщин, для которых все это и предназначено. Здесь находит свое воплощение один из тех случаев, когда (пользуясь выражением Ульриха Бека) институты, призванные *преодолевать* проблемы, превращаются в институты, их *порождающие* [4]; "человека, с одной стороны, заставляют принять на себя весь груз ответственности, а с другой - ставят в зависимость от условий, которые ему не подвластны" [5] (а в большинстве случаев даже неведомы); в таких условиях "жизнь конкретного человека становится *биографическим решением системных противоречий*" [6]. Снятие вины с институтов и возложение ее на отдельных лиц, объявляемых неадекватными, помогает либо рассеять потенциально разрушительное раздражение, либо трансформировать его в стремление к самоцензуре и самобичеванию, а иногда даже перенаправить на мучение и истязание собственного тела.

Вколачивание в сознание мысли о том, что "в обществе нет больше спасения", и превращение этой мысли в расхожее правило житейской мудрости (а это легко можно разглядеть на поверхности современной жизни) приводит к тому, что коллективные, общественные орудия трансцендентности отрицаются, прячутся на "второе дно", и человек остается наедине с той задачей, решить которую самостоятельно большинство людей не имеет никакой возможности. Нарастающая политическая апатия и заполнение публичного пространства интимностью личной жизни; "крах общественного человека" Ричарда Сеннетта; стремительное угасание старого искусства укрепления и упрочения социальных связей; шизофреническое желание самостоятельности и одновременная боязнь быть всеми забытым (вечное колебание между "дайте мне больше пространства" и макбилевским "я так устаю от самой себя"); раскаленные добела страсти, сопровождающие отчаянный поиск новых сообществ и расщепление уже найденных; неослабевающий спрос на новые и усовершенствованные карательные режимы, с помощью которых подвергается пыткам чье-то отданное на заклятие тело (что парадоксально сочетается с культом тела как "последней линии обороны", которую надо отстоять в борьбе не на жизнь, а на смерть, и в то же время как источника бесконечной серии все более и более приятных ощущений, возникающих в результате провоцируемых возбуждений, не говоря уже об устойчиво растущей популярности снадобий, беспрестанно производимых химическими, электронными или социальными способами, чтобы в различные моменты жизни то обострять ощущения, то понижать их тонус, а иногда и вовсе подавлять их) - все это может иметь общие корни, уходящие ко "второму дну".

Однако тенденция остается общей на обоих уровнях: *условия*, в которых люди конструируют свое индивидуальное существование и которые определяют диапазон и *последствия* их выбора, выходят (или выводятся) за пределы их сознательного влияния, в то время как упоминания этих условий либо вымарываются, либо уводятся на нечеткий и редко используемый задний план историй, которые люди рассказывают о своей жизни, пытаясь найти или придумать логику этих историй, позволяющую превратить их в понятные символы межличностного общения. Как упомянутые условия, так и сами повествования претерпевают процесс непрекращающейся *индивидуализации*, хотя суть этого процесса в каждом случае различна: "условия", какими бы они ни были, - это то, что случилось с кем-то, что пришло без приглашения и не уходит, как бы ты этого ни желал, в то время как "жизнеописания" - это истории, которые сами люди рассказывают о собственных свершениях и упущениях. Иными словами, можно говорить о разнице между чем-то, принимающимся за данность, и чем-то, по поводу чего возникают вопросы "почему" и "как". Это, так сказать, *семантические различия в терминах*. Момент же наибольшей социологической значимости состоит в том, как раскрываются термины в процессе вербального оформления рассказа, то есть в том, как и где по ходу повествования проводится граница между деяниями человека и условиями, в которых он действовал (и, конечно, не мог действовать иначе).

Марксу принадлежит знаменитое изречение о том, что люди делают историю, но делают ее в обстоятельствах, которых не выбирают. Мы можем перефразировать этот тезис, как того требует "политика жизни", и сказать, что люди сами определяют свой образ жизни, но в условиях, которые не зависят от их выбора. Как в оригинальной, так и в обновленной версиях этот тезис можно понимать так, что сфера условий, не зависящих от нашего выбора, и область действий, благоприятных для расчетов, оценок и решений, разделены между собой и остаются таковыми; что, хотя их взаимодействие и создает проблемы, сама существующая между ними граница несомненна: она объективна и не подлежит обсуждению.

Между тем предположение о "заданности" границы само по себе оказывается важным, если не решающим фактором, делающим "условия" тем, чем они являются: ограничениями, которых не выбирают. "Условия" лимитируют человеческий выбор, поскольку оказываются внешними по отношению к жизненным играм с их целями и средствами, иммуноустойчивыми к человеческим предпочтениям. Как выразился У. И. Томас, то, что люди полагают истинным, имеет тенденцию становиться истинным именно вследствие этого (точнее, это становится совокупным результатом индивидуальных действий). Когда люди говорят, что "варианту 'х' нет альтернативы", У автоматически перемещается из арены действий на территорию задающих их "условий". Когда люди говорят, что сделать уже ничего нельзя, они действительно больше ничего не смогут сделать. Процесс индивидуализации, воздействующий как на условия, так и на повествования о жизни, нуждается в двух опорах для своего продвижения: силы, устанавливающие диапазон выбора и отделяющие реалистические сценарии от досуговых мечтаний, должны быть четко отнесены к сфере "условий", в то время как жизнеописания должны ограничиться хождением на цыпочках от одного предлагаемого варианта к другому.

Поэтому жизни прожитые и жизни рассказанные тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Можно сказать, что, как это ни парадоксально, истории, рассказанные о жизни, вмещиваются в прожитую жизнь еще до того, как она проживается и о ней становится возможным рассказать... Как это выразил иными словами Стюарт Холл, "по причине нежелания до бесконечности расширять территориальные притязания наших рассказов, представления о вещах, равно как 'механика' и режимы формирования этих представлений, играют в культуре конституирующую, а не просто рефлексивную, постсобытийную роль" [7]. Повествования о жизни якобы диктуются скромным желанием внести ("на основе ретроспективного взгляда", "учитывая усвоенные уроки") некую "внутреннюю логику" и смысл в жизнь, которую они описывают. На самом же деле свод правил, которые осознанно или неосознанно соблюдаются при

таком повествовании, не менее сильно влияет на жизни, о которых рассказывается, чем на само повествование и на выбор злодеев и героев. Человек проживает свою жизнь, как историю, которой предстоит быть рассказанной, но способ, каким история будет соткана, определяет технику свивания нити самой жизни.

Можно утверждать, что рубеж между "фоном" и "действием" ("структурой" и "институтами", *pascein* и *poiein*) является наиболее горячо оспариваемой границей, определяющей контуры карты *Lebenswelt* (жизненного пространства) и, косвенно, траектории жизненных путей. На этом рубеже идут самые ожесточенные идеологические бои; вдоль этой границы зарываются в землю бронемашин и самоходные орудия, принадлежащие враждующим идеологиям, - и все это, чтобы сформировать "воображаемое", "здравый смысл", то есть "запретную для перехода линию", защищенную от выпадов мысли и заминированную на случай забредшего воображения. Несмотря на всю серьезность усилий, эта граница постоянно перемещается; в общем, это странный рубеж, поскольку сомнение в нем оборачивается наиболее эффективной формой возращения. "Вещи *не* таковы, какими кажутся", "они не таковы, какими вы их считаете", "не так страшен черт, как его малюют" - подобных воинственных кличей защитники этой границы вполне резонно боятся более всего, как бояться их и ораторы, толкующие со своих кафедр о божественных вердиктах, законах истории, потребностях государства и заповедях разума, с немалым трудом постигнутых ими. Разрабатывая практическую и теоретическую стратегию культурологических исследований, составивших впечатляющий британский вклад в ту часть современного обществоведения, которая имеет дело с проблемами познания, Лоуренс Гроссберг предположил, что концепция "артикуляции" ("процесса, устанавливающего связь между практическими шагами и их результатами и в то же время предусматривающего, что действия могут иметь иные, нередко непредсказуемые последствия") наиболее удачно схватывает стратегическую логику битв, идущих на рассматриваемом рубеже:

"Артикуляция представляет собой конструирование одного набора отношений из другого; она зачастую приводит к разрыву либо нечеткости одних связей ради установления или подчеркивания других. Артикуляция - это непрерывная борьба за изменение композиции действий в пределах меняющегося баланса сил ради переосмысления возможностей посредством изменения контекста, то есть самого определения сферы отношений, в которую заключена практика" [8].

Артикуляция - это такая деятельность, в которую все мы, вольно или невольно, вовлечены; без нее никакой опыт не воплотится в рассказе. Однако еще не было случая, чтобы артикуляция делала такие крупные ставки, как претензия на создание всеобъемлющей истории жизни. В этом случае было бы поставлено на карту оправдание (либо, что тоже возможно, неоправдание) колоссальной ответственности, посредством неотвратимой "индивидуализации" возлагаемой на чьи-то плечи, на чьи-то персональные плечи, и только на них. В нашем "обществе индивидов" все неприятности, которые только могут случиться с человеком, подразумеваются самонавлеченными, а та обжигающе горячая вода, под которую он неожиданно может попасть, объявляется им самим вскипяченной. За все то доброе или злое, что наполняет жизнь человека, он может благодарить или, напротив, винить только себя и никого другого. И то, как рассказываются "истории всей жизни", возводит это предположение в ранг аксиомы.

Любая артикуляция открывает одни определенные возможности и закрывает некоторые другие. Отличительная черта рассказываемых в наши дни историй состоит в том, что они описывают индивидуальные жизни в манере, исключаяющей либо подавляющей (т.е. мешающей артикуляции) возможности отслеживания связей, соединяющих судьбы отдельных людей с путями и средствами функционирования общества как целого; более того, она отрицает саму необходимость обращения к этим путям и средствам, уводя их на задворки жизненных устремлений личности и представляя в качестве "чистых фактов", которые рассказчики историй не могут ни оспорить, ни подвергнуть обсуждению независимо от того, действуют ли они в одиночку, группой или коллективно. Если же стоящие над индивидом факторы, формирующие течение личной

жизни, невидимы и непостижимы, сложно уловить выгоду "объединения сил" или "действий плечом к плечу", а побуждение участвовать (не говоря уж о серьезном волеянии) в том, как формируется человеческое состояние, как складываются коллективные межличностные отношения, слабо или же вовсе отсутствует.

В последнее время многое делается в области исследований так называемой "рефлексивности" современной жизни; по сути дела, все мы - "индивиды по установлению", являющиеся скорее "политиками от жизни", чем членами политического целого, - становимся рассказчиками вынужденно и лишь редко (если вообще) находим для наших историй более интересные темы, нежели мы сами, чем наши эмоции, чувства и переживания. Дело, однако, в том, что наша игра в жизнь, основными элементами которой выступают наши саморефлексии и рассказы, протекает так, что правила самой игры, набор карт и манера перетасовки колоды лишь изредка подвергаются оценке, гораздо реже становятся предметом изучения, и почти никогда - темой серьезного обсуждения.

Молчаливое согласие продолжать игру, исход которой может быть предрешенным (хотя это невозможно утверждать наверняка), равно как и отсутствие видимого интереса к тому, почему и как перевес оказывается не на стороне игроков, представляется многим пронизательным умам настолько странным и противным разуму, что они перебирают одно за другим все разновидности зловещих сил и противоестественных обстоятельств, стремясь объяснить, как подобное может происходить в столь крупных масштабах. Странное поведение показалось бы менее необычным и более объяснимым, если бы актеры были *вынуждены* капитулировать - ввиду принуждения или под угрозой насилия. Но упомянутые актеры суть "индивиды по установлению", обладающие свободой выбора; кроме того, как мы все знаем, можно завести лошадь в воду, но нельзя силой заставить ее пить. В такой ситуации ищутся иные объяснения, которые якобы находятся в "массовой культуре"; при этом "средства массовой информации", обвиняемые в специализации на "промыывании мозгов" и подмене серьезных размышлений дешевой развлекаловкой, и "рынок, ориентирующий на потребление", в вину которому ставится приверженность обману и соблазнам, выдаются за главных злодеев. Иногда "массы" выступают объектом сочувствия как злосчастные жертвы заговора рынка и средств информации, иногда их обвиняют в слишком активном непротивлении заговорщикам, но так или иначе предполагается некое коллективное умпомрачение; попадание в западню не может быть сочтено "соответствующим разуму".

Несколько более лъстят человеческим существам трактовки, допускающие присутствие разума на сцене: да, люди пользуются своим умом, навыками и немалой профессиональной осведомленностью, пытаются выйти из положения, но знания, которые им предлагаются, исходят от мошенников, вводят в заблуждение и дают мало шансов понять подлинные причины их мытарств. Не то чтобы людям недостает разума и здравого смысла; скорее, реальность, с которой они вынуждены всю жизнь иметь дело, обременена первородным грехом фальсификации истинно человеческого потенциала и ограничивает возможности эмансипации. Люди не иррациональны и не одурманены, но как бы прилежно они ни изучали жизненный опыт, вряд ли они найдут стратегию, которая была бы в состоянии помочь изменить правила игры в их пользу. Таково, вкратце, то разъяснение, которое основывается на [концепции] "идеологической гегемонии". Согласно ему идеология не столько представляет собой четко выраженное кредо, набор утверждений, требующих постижения и веры, сколько инкорпорирована в образ жизни людей, пропитана теми путями, какими люди действуют и какими они соотносятся между собой. После обретения гегемонии намеки и подсказки, уводящие в неверном (с точки зрения интересов действующих лиц) направлении, густо разбрасываются по всему тому пространству, на котором совместно живут эти действующие лица, и их уже нельзя ни избежать, ни разоблачить, пока люди строят свои "жизненные планы" и планируют собственные действия, руководствуясь лишь своим жизненным опытом. Не требуется никакого промыывания мозгов - погруженность в повседневную жизнь, определяемую заранее установленными и предписанными

ми правилами, оказывается вполне достаточной, чтобы удерживать действующих лиц в рамках обозначенного курса.

Идея "идеологии" неотделима от идеи власти и господства. Она является неотъемлемой частью концепции, согласно которой идеология отвечает чьим-то интересам; правители (правлящий класс, элиты) - вот кто обеспечивает свое господство посредством идеологической гегемонии. Но для достижения этого необходим "механизм", который иногда открыто, но по большей части скрытно начинал бы культурные крестовые походы, утверждающие господство того вида культуры, который способен подавить волнения и удерживать подчиненных в повиновении. Идеология без культурного "крестового похода", ведущегося или еще только планирующегося, стала бы похожей на ветер, который не дует, или на реку, которая не течет.

Однако крестовые походы, как и иные войны, да и вообще все стычки, в том числе и самые жестокие, являются (как отметил Георг Зиммель) формами социального общения. Борьба предполагает противостояние, "битву", и тем самым означает взаимное участие воюющих сторон, взаимодействие между ними. "Культурные крестовые походы", прозелитизм, обращение в свою веру, очевидно, предполагают такое участие. Это заставляет человека заинтересоваться, не потеряла ли сегодня "идеологическая гегемония" как средство объяснения популярности неадекватных артикуляций своей убедительности, независимо от того, обладала ли она таковой при других, ныне исчезнувших обстоятельствах.

[Подошли к концу] времена прямого общения между "господствующим" и "подчиняющимся", воплощенного в системе постоянного контроля и индоктринации, теперь они, кажется, заменены (или заменяются) более аккуратными, утонченными и гибкими экономическими средствами. Именно распад прежних тяжелых конструкций и отмена жестких и строгих правил обрекли людей на ощущение ненадежности их положения и породили всеобщую неуверенность в действиях, сделали излишними неуклюжие и дорогостоящие методы прямого контроля. Когда, по выражению Пьера Бурдьё, *la r gacite est partout* (нестабильность наблюдается повсюду), паноптикумы с их обширным и неуправляемым штатом надсмотрщиков и контролеров могут быть закрыты и расформированы. В той же мере можно обойтись и без проповедников с их нравоучениями. Риск более совершенен в их отсутствие. Ощущение риска оказывается новой, более надежной гарантией подчинения, поскольку в условиях, когда люди поставлены перед необходимостью справляться со своими проблемами собственными силами, к сожалению, недостаточными для установления контроля над нынешней ситуацией, трудно предположить возможность возникновения у них мыслей о будущих изменениях своего положения. Разъединение стало в наши дни самой привлекательной и широко практикуемой игрой. Быстрота действий и особенно скорость ухода от опасных последствий, прежде чем они будут обнаружены, - это самые популярные ныне приемы власти.

В наше время власти предрежающие не желают впутываться в проблемы и неприятности управления и контроля; еще более не хотят они брать на себя обязательства, вытекающие из долгосрочных установок и соглашений, заключенных до того момента, "пока не разлучит нас смерть". Они возвысили до ранга наивысшей заслуги атрибуты мобильности и гибкости, легкости передвижений, быстрого решения проблем и непрерывных перевоплощений. Имея в своем распоряжении массу ресурсов, соответствующую диапазону выбора, они считают новую легкость не иначе, как плодотворным и потому весьма радостным обстоятельством. Однако эти атрибуты, превращаясь в отсутствие выбора, в обязательные каноны всеобщего поведения, порождают массу человеческих страданий. В то же время (и тем же манером) они лишают игру возможных осложнений и тем самым страхуют ее от всякой конкуренции. [Всеобщность] риска и принцип TINA¹ идут по жизни рука об руку. И лишь вместе они могут уйти из нее.

¹ Аббревиатура, составленная автором из первых букв английских слов *there is no alternative* (альтернативы не существует). - *Прим. ред.*

Почему же все мы, побуждаемые к действию неудобствами и рисками, присущими самому нашему образу жизни, так часто переключаем свое внимание и направляем свои усилия на объекты и цели, явно не связанные с реальными источниками этих неудобств и рисков? Как получается, что наша энергия, энергия разумных существ, каковыми мы являемся, порожденная жизненными неприятностями, не направляется на "разумные цели" и используется скорее для сохранения, чем для устранения причин существующих проблем? В частности, каковы причины того, что истории, которые мы сегодня рассказываем и которые с удовольствием выслушиваем, редко, если вообще когда-нибудь, выходят за пределы узкого и упорно ограждаемого круга частной жизни и собственной субъективности? Эти вопросы в последние годы стали (пора в этом признаться) мучительными для меня. Предлагаемое собрание лекций и очерков, прочитанных и написанных за последние три года, выступает свидетельством этих мучений.

Перечисленные выше вопросы - это тот единственный элемент, который объединяет темы этой книги, которые в иной ситуации остались бы разрозненными и мало относящимися друг к другу. Поиск ответа на них был моим основным мотивом, а приближение с разных сторон к ускользающему, нельзя не признать, ответу было моей главной целью. Я уверен, что активное участие в продолжающихся усилиях по переосмыслению того меняющегося состояния, в котором оказываются "все более индивидуализируемые индивиды", борющиеся за внесение смысла и цели в свои жизни, является при нынешних обстоятельствах (которые я попытался вкратце обрисовать в своей книге "Растекающаяся модернити") главнейшей задачей социологии.

Эта задача не состоит (и не может состоять) в "корректировке здравого смысла" и утверждении истинного подхода к социальной реальности взамен расхожих представлений, свойственных досужему знанию. Суть задачи не в том, чтобы закрыть прения, а в том чтобы открыть их; не в выборе человеком достойных реализации возможностей, а в предотвращении отказа от их анализа, в противостоянии их подмене или простому уводу из поля зрения. Призвание социологии заключается в наши дни в сохранении и расширении той части человеческого универсума, которая является предметом дискурсивного изучения, и тем самым в спасении ее от заострения, от превращения в состояние, когда выбирать становится не из чего.

Артикуляция жизненных историй - это та деятельность, через которую в жизнь привносятся смысл и цель. В том типе общества, в котором мы живем, артикуляция есть и должна оставаться личной задачей и личным правом. Однако это задача, которая мучительно сложна, и право, которое нелегко обосновать. Чтобы решить задачу и воспользоваться правом во всей полноте, мы готовы принять любую помощь, которую только можем получить, - и социологи способны существенно помочь, если в полной мере проявят себя в работе по документированию и изображению критически важных моментов в переплетении взаимосвязей и взаимозависимостей, которые либо держатся в тайне, либо остаются невидимыми для индивидуального опыта. Социология сама по себе есть рассказ, но смысл этого рассказа в том, что имеется гораздо больше вариантов рассказывания историй, чем это можно себе представить с позиций наших повседневных повествований, что существует больше вариантов жизни, чем предлагается рассказываемыми нам историями, теми историями, в которые мы верим, полагая представленное в них единственным из возможного.

Существует другая линия, связывающая воедино лекции и очерки, составившие данную книгу: критически важным результатом борьбы за расширение границ артикуляции посредством возвращения в поле зрения тех зон, которые были уведены на задний план и оставлены без внимания в жизненных историях, должно стать решительное расширение рамок политической повестки дня. В условиях, когда общественная сфера обманным путем, но неуклонно заселяется частными проблемами, упрощенными, оципантыми, очищенными от общественных связей и готовыми к частному употреблению, но не к производству общественных связей, такой результат может быть обозначен как *деколонизация* публичной сферы. Как я попытался показать в

"Растекающейся модернити", дорога к подлинно автономной *ecclesia* ведет через многолюдную и полную жизни *agora*, где люди ежедневно встречаются ради совместных усилий по непрерывному переводу языка частных проблем на язык общественного блага.

Сентябрь 1999 года

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Becker E.* The Denial of Death. NY, 1997, pp. 26-27.
2. *Ibid.*, p. 7.
3. *Durkheim E.* in *Cosmologie et philosophie* and 'La science positive de la morale en Allemagne'. Цит. по английскому переводу Э. Гидденса (*Durkheim E.* Selected Writings. Cambridge. 1972, pp. 115,94).
4. *Beck U.* The Reinvention of Politics. (Пер. М. Риттера). Cambridge, 1997, p. 51.
5. *Beck U., Beck-Gernsheim E.* The Normal Chaos of Love. (Пер. М. Риттера, Дж. Уайбел). Cambridge. 1995, p. 7.
6. *Beck U.* Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne [1986]. Цит. по английскому переводу М. Риттера (*Beck U.* Risk Society: Towards a New Modernity. L. 1992, p. 137).
7. *Hal! S.* New ethnicities / *ICA Documents* 7, L. 1988, p. 27. Цит. по: *Grossberg L.* We Gotta Get Out of This Place: Popular Conservatism and Postmodern Culture. L. 1992, p. 47.
8. *Grossberg L.* Op. cit., p. 54.